Художник-варвар кистью сонной

— он так и определил себя. Тут только

не верно слово «варвар»: напротив, душу

Пушкина чертили великие гении и его со-

здания, его «молитвы» перед ними сохра-

няют и до сих пор удивительную красоту

и всю цену настоящих художественных

творений. Без этого Пушкин не был бы

Пушкиным и вовсе не сделался бы твор

цом нашей оригинальности и самобыт-

ности. Посмотрите, как он припоминает

эти чуждые на себе краски, уже свобод-

ный от них, когда уже спала с него их

«ветхая чешуя». Как глубоко сознательно

он относится к богам когда-то любимца

своего, коего «Генриаду» он предпочитал

Какая точность! Какое понимание чело-

века и писателя! Что нового прибавил к

этим шести строкам в своей блестящей ха-

рактеристике Вольтера Карлейль? Ничего,

ни одной черты, которая не была бы здесь

вписана. Но человека можно понимать

...увидел ты Версаль; Пророческих очей не простирая вдаль,

Там ликовало все... Армида молодая,

Не ведая, чему судьбой обречена,

Резвилась, ветреным двором окружена.

Как многое достигнуто одною заменой

имени Марии-Антуанетты греческим: «Ар-

мида». Гениально поставленное слово вос-

крешает в вас разом «Сады» Де-Лиля,

весь ложный классицизм, полусмененны

пасторалью, когда придворные дамы, чи-

тая Феокрита, неудержимо разводили

Уединялся ты. За твой суровый пир

и шумные забавы?

то безбожник,

от сладкой их отравы;

на шаткий свой треножник.

своих коров и навевали лучшие сны юно-

роскоши знак первый подавая,

приветствовал тебя.

он расточал избыток,

земных богов напиток.

всем сладким вымыслам:

Могильным голосом

Ты лесть его вкусил,

С тобой веселости

только в обстановке:

К веселью.

му еще Жан-Жаку.

Ты помнишь Трианон



ИМЯ Василия Васильевича Розанова (1856—1919) в коице XIX и начале XX века было широко известно русской читающей публике. Он писал по вопросам школы, семьи и брака, на темы культуры и истории, философии государства, церкви, религии, на литературные темы искусства, театра и др. Почти каждый третий день в течение тридцати лет с его подписью выходили статья, заметка, сообщение, ре-

гии, на литературные темы, тейы искусства, театра и др. Почти каждый третий день в течение тридцати лет с его подписью выходили статъя, заметка, сообщение, рецензия, ответ читателю.

Правда, его имя чаще всего связывается с участием в газете «Новое время», репутация ноторой среди русской интеллигенции была неважной, но отождествлять Розанова с «Новым временем» будет, конечно, ошибкой. Решить вопрос о его месте в русской культуре непросто. Отсюда начинается полеминае о личности писателя, о его творчестве (которое ждет анализа и изучения), политической позиции и плодотворности его духовного потенциала.

Он умер под Москвой в начале голодного 1919 года, когда шла гражданская война. Подвести черту под его жизнью и деятельностью было некому. Н. В. Розанова, дочь писателя, после его смерти обращалась к современникам с просьбой поделиться воспоминаниями. Максим Горький отвечал ей: «Написать очерк о нем — не решаюсь, ибо уверен, что это мне не по силам. Я считаю В. В. генмальным человеком, замечательнейшим мыслителем, в мыслях его много совершенно чуждого, а—порою—даже враждебного моей душе, и — с этим вместе — он любимейший писатель мой. Столь сложное мое отношение к нему требует суждений очень точно разработанных, очень продуманных, — на что я сейчас инкак не способен. («Контекст—1978». М. 1978. С. 323).

К сожалению, Горький не исполнил своего обещания, иначе мы могли бы решить «пролему Розанова» раньше и с большим успехом. Но возвращение к этому сложному усскому писателю стоит на повестке дня. О том пишут сегодия Д. Лихачев, С. Аверинцев, Олег Михайлов, Андрей Вознесенский, Юрий Нагибин и другие. Книги В. В. Розанова «Уединенное», «Смертное», «Опавшие листья», неопубликованные «Мимолетное», «Сахарна» должны занять свое место в истории русской литературы.

Ждет публикации и сборник критических статей. не осуществленый при жизни

итературы. Ждет публикации и сборник критических статей, не осуществленный при жизни писателя. Публикуемая ниже статья первоначально была напечатана к столетию А. Пушкина в «Новом времени» (26 мая 1899 г.).

Виктор СУКАЧ

Виктор СУКАЧ

В. В. РОЗАНОВ

А. С. Пушкин

ДИВИТЕЛЕН рост значения литературы за последние десятилетия. Выключая имя Толстого, мы не имели за последние 10-15 лет таких сил перед собою, какие имели решительно каждое десятилетие этого века. Но. несмотря на это, поступательный рост внимания к литературе не останавливается. В литературе творится меньшее, слабейшее, но, очевидно, вся литература, в целом своем, стала столь ценным явлением, ее плоды так ярки и непререкаемы, что недостаток отдельных ярких точек уже не ослабляет общей световой силы ее и внимание относится не столько к лицу писателя, сколько к существу слова. Недавно исполнилась 50-летняя годовшина смерти Белинского; теперь — сто лет со дня рождения Пушкина. Какое же имя не литературное и поприще вне литературы найдем мы, которое пробудило бы вокруг себя у нас столько духовного и даже физического движения. Наступило время, что всякое имя в России есть более частное имя нежели имя писателя, и память всякого человека есть более частная и кружковая память, чем память творца слова. Кажется, еще немного и литература станет у нас каким-то ірос λουос. «священною сагою», какие распевались в превней Греции: так много любви около нее и на

ней почило и, верно, так много есть любви в ней самой. Это — огромный факт. Россия получила сосредоточение вне классов, положений, вне грубых материальных фактов своей истории; есть место, где она собрана вся, куда она вся

Неудивительно, что место этого сосредоточенного внимания имеет свои святыни. Это не только сила; наоборот, сила этого духовного средоточия русского общества вся и вырастает из того, что оно сумело стать воочию для всех и для всех признанным святым местом. Замечательна в этом отношении оценка многих русских писателей: над гробом многих из них поднимался упорный и продолжительный спор об их так называемой искренности. Какое было бы дело до этого, если бы литература была у нас только силою или если бы она была только красотою: «прекрасное и мудрое слово» — разве этого недостаточно для бессмертия? Нет, до очевидности — у нас начинаются споры, начинается внимательнейшее посмертное исследование слов писателя, проверяемых его жизнью. Так древние египтяне производили суд над мертвыми, и мы делаем через 2000 лет и то же: с великой беспошадностью мы перетряхиваем прах умершего, чтобы убедиться в такой, казалось

бы, литературно безразличной вещи, как его чистосердечии. Что же это значит? что за критический феномен? Мы ищем в писателе, смешно сказать... святого. Томы его сочинений свидетельствуют об образности языка, о проницательности мысли, о прекрасном стихосложении или благоуханной прозе. И вдруг Аристарх, совершенно нигде невиданный Аристарх, замечает или заподозривает: «Да,—но все это было вранье». Замечание это нигде не обратило бы на себя внимания, потому что не содержит в себе, в сущности, никакого литературного обвинения, но у нас оно поднимает заново вопрос о писателе, и, пока он не решен, место писателя в литературе вовсе не определено: начинается «суд» именно с точки этого специального вопроса, опаснейший у нас суд. И хотя немного, но есть у нас несколько репутаций, пользовавшихся при жизни огромным, непобедимым влиянием, которые, попав уже по смерти на черную доску, умерли разом и окончательно. Чудовищное явление: но оно-то и объясняет, почему у нас литература стала центральным национальным явлением.

Есть свои святыни в этой сфере, свой календарь, свои дорогие могилы и благодарно воспоминаемые рождения. Сегодня — первый вековой юбилей главного светоча нашей литературы. Мы говорим -«первый», потому что не думаем, чтобы когда-нибудь века нашей истории продолжали течь и в надлежащий день «26-го мая» не было вспомнено имя Пушкина.

Сказать о нем что-нибудь — необыкновенно трудно; так много было сказано 6-го и 7-го июня 1880 года, при открытии ему в Москве памятника, и сказано первоклассными русскими умами. То было время золотых речей: нужно было преодолеть и победить, в два дня победить, гянувшееся двадцать лет отчуждение от поэта и непонимание поэта. Ясно, почему битва была так горяча и блистательна, победа — так великолепна. Что нам остается сказать теперь? Увы, все золото мысли и слов исчерпано, и приходится или вновь сковать несколько жалких медяков, или лучше подвести скромно итог тогда сказанному, без претензий на ори-

гинальность и новизну. Так и поступим.

лать Кольцов и по условиям образова-

Европы и Петербурга; но что же специаль-

но приятного или полезного получалось

для такого стоятеля? Проигрыш, просчет;

а что касается до сил, -- то и яркое при-

знание их незначительности. Вот поче-

му было много «руссизма» в славянофилах,

но никогда они не сумели сделать свою

доктрину центральным национальным яв-

лением. Пушкин не только сам возвысил-

ся до национальности, но и всю русскую

литературу вернул к национальности,

потому что он начал с молитвы Европе,

потому что он каждый темп этой молитвы

выдержал так долго и чистосердечно, как

был в силах: и все-таки на конце этой

длинной и усердной молитвы мы видим

обыкновенного русского человека, типич-

ного русского человека. В нем, в его

судьбе, в его биографии совершилось

почти явление природы: так оно естест-

ренности. Парни, Андре Шенье, Шато-

бриан; одновременно с Парни для серд-

ца — Вольтер для ума; затем Байрон и.

наконец, Мольер и Шекспир прошли по

нему, но не имели силы оставить его в

своих оковах, которых, однако, он не раз-

бивал, которых даже не усиливался снять.

Все сошло само собою: остался русский

человек, но уже богатый всемирным про-

свещением, уже узнавший сладость мо-

литвы перед другими чужеродными бога-

ми. Биография его удивительно цельна:

никаких чрезвычайных переломов в раз-

витии мы в нем не наблюдаем. Скорее он

походит на удивительный луг, засеян-

ный разными семенами и разновременного

всхода, которые, поднимаясь, дают в од-

ном месяце сочетание цветов и такой же

общий рисунок; в следующий месяц —

другой и т. д.; или, пожалуй, - на старин-

ные дорогие ковры, которые под дейст-

вием времени изменяют свой цвет, и чем

долее, чем позднее, тем становятся пре-

краснее. Да в стихотворении

Но ты не изнемог Пушкин — национальный поэт, вот что многообразно было утверждено тогда. Ученье делалось на время твой кумир; Что значит «национальный поэт»? Разве им не был Кольцов? Почему же мы уси-То чтитель промысла, то скептик, ленно придаем это определение Пушкину, не всегда прибавляя его к имени Кольцова? Он не был только русским по духу, Садился Дидерот как Кольцов, но русскому духу он воз-Бросал парик, вратил свободу и дал ему верховное в глаза в восторге закрывал И проповедовал. И скромно ты внимал литературе положение, чего не мог сде-

чашей медленной афею иль деисту, ния своего, и по размеру сил. Можно Как любопытный скиф быть свободным и независимым - по неафинскому софисту. образованности; можно сохранить полную Тут опять мы припоминаем «Путешесторигинальность творчества, не имея перед вия молодого Анахарсиса», которым на собою образцов или чураясь образцов, Западе и у нас зачитывались в XVIII везажмуривая перед ними глаза. Этою мудростью страуса, прячущего перед ке. Заменою «Дидеро» — «Дидеротом», как писалось это имя в екатерининскую охотником голову под крыло, грешили и эпоху, новой пушкинской странице вдруг грешат многие из нас, иногда грешили сообщается колорит времен Богдановича, славянофилы: они не смотрели (повторяю — иногда) на Европу и тем побеждали Княжина, Сумарокова. У Пушкина повсюду в исторических припоминаниях есть ее, избегая соблазнительного заражения. Отождествляя Европу с Петербургом, Ив. это удивительное искусство воскрешать прошлое, и с помощью самых незаметных Аксаков говаривал: «Нужно стать к Песредств: он поставит, напр(имер) неупотербургу спиною». Ну, и прекрасно, - для

> цветок, и чувствуете аромат всей эпохил Скичая, может быть.. Ты думал дале плыть.

Услужливый, живой, Подобный своему чудесному герою, Веселый Бомарше блеснул перед тобою.

требительное уже в его время «афей», и

точно вы находите в книге той печати старый засохший цветок, екатерининский

Он угадал тебя: в пленительных словах Он стал рассказывать о ножках,

О неге той страны, где небо вечно ясно; Где жизнь ленивая проходит сладострастно.

Как пылкий отрока, восторгов полный, сон; Где жены вечером выходят на балкон,

ревнивого испанца, С илыбкой слушают

и манят иностранца Опять какая точность! «Блеснул»... Действительно, при огромном значении, Фигаро-Бомарше не имеет вовсе в истории литературы такого фундаментально-седалищного положения, как напр(имер). Дидеро или даже как Бернарден-де-Сен-Пьер: какой-то эпизод, быстро сгоревшая магниева лента, вдруг осветившая Франции ее самое, но и затем моментально потухшая, прежде всего по пустоте Фигаро-автора.

И ты, встревоженный, в Севиллу полетел. Благословенный край, пленительный предел! Там лавры зыблются,

там апельсины эреют... О, расскажи ж ты мне, как жены там умеют С любовью набожность

умильно сочетать,

Из-под мантильи знак условный подавать;

как падает письмо из-за решетки, Как златом усыплен

надзор угрюмой тетки; Скажи, как в двадцать лет любовник под окном Трепещет и кипит, окутанный плащом.

И опять тут тон, краски и определения прекрасного гейневского стихотворения «Исповедь испанской королевы»: Искони твердят испанцы:

«В кастаньеты громко брякать, Под ножом вести интригу Да на исповеди плакать. Три блаженства только на свете».

Умов и моды вождь Пушкин продолжает, и какая, без перемены стихосложения, перемена тона: пронырливый и смелый. Свое владычество на Севере

Все изменилося. Ты видел вихорь бури. Падение всего, союз ума и фурий, Свободой грозною воздвигнитый закон. Под гильотиною Версаль и Трианон И мрачным ужасом смененные забавы. Преобразился мир

при громах новой славы. Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер,

Превратности судеб разительный пример, Не успокоивщись

и в гробовом жилище, Доныне странствует с кладбища на кладбище. Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни,

Энциклопедии скептический причет, И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,

Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти Забыты для других.
Смотри: вокруг тебя

Все новое кипит, былое истребя. Свидетелями быв вчерашнего паденья, Едва опомнились младые поколенья. Жестоких опытов сбирая поздний плод, Они торопятся

с расходом свесть приход. Им некогда шутить, обедать у Темиры Иль спорить о стихах.

Звук новой, чудной лиры,

Звук лиры Байрона развлечь едва их мог. Какая бездна критики во всем приведен-

ном стихотворении. Ведь это — курс новой литературы, так бесцветно обыкновенно разводимый из сотнях водянистых страниц учеными, томы которых мы имеем неосторожность читать вместо того, чтобы заучить наизусть, упиться и, упиваясь, невольно запомнить эти краткие и вековечные строфы! Но, чтобы их написать, разве достаточно волшебно владеть стихом? Нужны были годы развития, сладостная молитва перед этими именами и осторожная от них отчужденность, основанная на тончайшем вкусе, и моральном,

Умов и моды вождь пронырливый

и смелый. Кто это сказал о Вольтере, уже перерос Вольтера. Так Пушкин вырастал из каждого поочередно владевшего им гения,как бабочка вылетает из прежде живой и нужной и затем умирающей и более не нужной куколки. Пушкин оживил для нас Вольтера и Дидеро; заставил вспомнить их, даже их полюбить, когда мы и не помнили уже, и уже не любилы их; в его абрисах их нет и тени желчи, как и никакого следа борьбы с побежденным гением. Это — любовное, любящее оставление, именно, вылет бабочки из недавно соединявшейся с нею в одно тело оболочки, «ветхой чешуи». Ум и сердце Пушкина, как это ни удивительно, как ни странно этому поверить, спокойно переросли столько гениев, всемирных гениев.

Таким образом, слова о себе Пушкина, что память о нем и его памятник поды-

выше Наполеонова столпа,-

не есть преувеличение; и даже сравнение взято не искусственно. Пушкин был царственная душа; в том смысле, что, долго ведомый, он поднялся на такую высоту чувств и созерцаний, где над ним уже никто не царил. То же чувство, какое овна высшую точку Кордильер: «Смотря на прибой волн Великого океана, с трудом дыша холодным воздухом, я подумал: никого нет выше меня. С благодарностью к Богу я поднял глаза: надо мной вился кондор» («Космос»).

Сейчас, однако, мы выскажем отрицание о Пушкине. И над ним поднимался простой необразованный прасол Кольцов - в одном определенном отношении, хотя в другом отношении этот простец духа стоял у подошвы Кордильер, Как он заплакал о Пушкине в «Лесе» — этим простым слезам

Что дремучий лес, Призадумался...

Не осилили тебя сильные Так зарезала Осень черная,-

мы можем лучше довериться, чем более великолепному воспоминанию Пушкина о Меж тем, как изимленный мир

На урну Байрона взирает И хору европейских лир

Близ Данте тень его внимает. До чего тут меньше любви! Есть великолепие широкой мысли, но нет той привязанности, что не умеет развязаться, нет той ограниченности сердца, в силу которой оно не умеет любить многого, и в особенности - любить противоположное, но зато же не угрожает любимому изменою... Пушкин был универсален. Это все замечают в нем, заметил еще Белинский, заметили даже раньше Белинского непосредственные друзья поэта, назвавшие его «протеем». Но есть во всякой универсальности граница, и на нее мы указываем: это — забвение. Пушкин был богат забвением, и, может быть, более богат, чем это вообще удобно на земле, желательно на земле для ее юдоли, но это забвение - гениальное. Он все восходил в своем развитии; сколько «куколок», умерших трупиков оставил его великолепный полет; это смертные остатки, сброшенные им с себя, внушают грусть тем, кто за ним не был в силах следовать. Где же конец полета? Что, наконец, вечно и абсолютно? Атмосфера все реже и реже:

Ты — Царь. Живи один.. Глазам обыкновенного смертного трудно и тягостно за самого гения следить этот полет, взор, наконец, отрываться от него — потому-то гениальные люди остаются непонятными для самых близких своих, к своему и их страданию!.. Не та ли темная пустота раскрывается перед этим восходящим полетом, которая делает гениальных людей безотчетно сумрачными и, убегая которой, люди, простые люди, так любят жаться на земле друг к другу, оплакивать друг друга, хранить один о другом память; и отсюда вытекли если не самые великолепные, то самые милые людские сказочки и песенки. Отсутствие постоянного и вечно одного и того же составляет неоспоримую черту Пушкина и в особом смысле — слабость его, впрочем, только перед слабейшими на земле. Собственно абсолютным перед нами является только его ум и критическая способность; но тем глубже и ярче выступает временность и слабость перед ним всего, что было на земле предметом его внимания, составило содержание его творений. Нет суженной, но в суженностито и могучей цели, как нет осязаемо постоянной меры всем вещам, если не назвать ею вообще правду, вообще предсты: но это - качество, а не имя предмета как и не название лица или даже убеждения. Пушкин был великий «прельститель», «очарователь», владыко и распорядитель «чар», впрочем, и сам вечно живший под чарами. Но под чарами чего? Тут мы находим непрерывное движение и восхождение, и нет конца, нет и препредвидимо даже завершения восхождения:

В цепях, в унынии глубоком О светских радостях стараясь

не жалеть, Еще надеясь жить, готовясь умереть, Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком, Под черным куколем,

с распятием в руках, Согбенный старостью беседовал монах. Старик, доказывал страдальцу молодому,

Что здесь и там одна бессмертная душа И что подлунный мир

не стоит ни гроша. С ним бедный Клавдио печально соглашался,

А в сердце милою Джульетой занимался. («АНДЖЕЛО»)

Какая правда, и вместе жакое безмерное любование юности на себя, на радость жизни и мира! И около этого, с равною красотою, но не с большею правдою и не с большею простотою, умиление перед полным упразднением всякой юности и всякого земного тления:

Отцы-пустынники и жены непорочны, Чтоб сердцем улетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв.

божественных молитв; Но ни одна из них меня не умиляет, Как та, которию священник повторяет Во дни печальные великого поста; Всех чаще мне она приходит на уста -И падшего свежит неведомою силой:

«Владыко дней моих! дух праздности унылой, Тюбоначалия, змеи сокрытой сей, И празднословия не дай душе моей; Но дай мне зреть мои, о Боже,

прегрешенья Да брат мой от меня

не примет осужденья, И дух смирения, терпения, любви И целомудрия мне в сердце оживи».

У Пушкина давно замечено тяготение к контрастам. В таком отношении контраста стоят сын и отец в «Скупом рыцаре»; входящий к Альберту еврей есть еще контраст к легкомысленному и великодушному рыцарю и с тем вместе он ни мало не сроден и с рыцарем-отцом. Рачительный Сальери и гениальный Мо-

царт — в таком же между собою отношении взаимного отрицания. «Египетские ночи», быть может, лучший или, по крайней мере, самый роскошный пример этой манеры Пушкина: петербуржец Чарский, с его мелочной о себе озабоченностью, и скупой и гениальной «импровизатор», так мало усиливающийся скрыть свою жадность к деньгам, и, наконец - Клеопатра; далее, если от лиц перейдем и к сценам: петербургский концерт и ночь в Александрии: какие сочетания! Откуда же этот закон у Пушкина, это тяготение его воображения к совмещению на небольшом куске полотна разительных противоположностей: закон прелести и как бы высшего засвидетельствования... о «несотворенном себе кумире». Мир был для Пушкина необозримым пантеоном, полным божеского и богов, однако, везде в контрасте друг с другом, и везде — без вечного которому-нибудь поклонения. Это и делает абсолютным его, но без абсолютного в нем кроме одного искания бестрепетной правды во всем, что занимало его ум. Вечный гений, -- среди преходящих вещей.

«Преходящими вещами» и остались для Пушкина все чужеродные идеалы. Они не отвергнуты, не опрокинуты. Нет, они все стоят на месте и через поэзию Пушкина исторгают у нас слезы. Отсюда огромное воспитывающее и образующее значение Пушкина. Это — европейская школа для нас, заменяющая обширное путешествие и обширные библиотеки. Но дело в том, что сам Пушкин не сложил своих костей на чужом кладбище, но, помолившись, вернулся на родину цел и невредим. Надо, особенно, указать, что сказки, его предисловие к «Руслану» и вообще множество русизма относится к очень молодым годам, так что не верно изображать дело так, что вот «с годами он одумался и стал русачком». Это — слишком простое представление, и неверное. Дело именно заключается в способности его и возрождению в его универсальности и простоте, простоте, всегда ему присущей Он ни в чем не был напряжен. И... с Байроном он был Байрон; с Ариной Родионовной — угадчик ее души, смиренный записыватель ее рассказов; и когда пришлось писать «Историю села Горохина» писал ее как подлинный горохинец. Универсален и прост, но всегда и во всем; без швов в себе; без «разочарований» и переломов. В самом деле, не уметь разочаровываться, а уметь только очаровывать - замечательная черта положитель-

В своих тетрадях, посмертно найденных, он оставил следы критической работы над чужеземными гениями. Замечательную особенность Пушкина составляет то, что у него нельзя рассмотреть, где кончается вдохновение и начинается анализ. где умолк поэт и говорит философ. Отнимите у монолога Скупого рыцаря стихотворную форму, и перед вами платоновское рассуждение о человеческой страсти. У Пушкина не видно никаких швов и сшивок в его духовном образе. Слитность, монолитность — его особен ность. Его огромная способность видеть и судить, изумительная и постоянная трезвость головы и помогла ему увидеть или ложное в каждом из владевших им гениев, или — и это гораздо чаще — ограниченное, узкое, односторонне-душевное (суждение о Байроне и Мольере).

Он остался, мз-под всех сбежавших с него красок, великою русскою душою. Мы упомянули о черновых его набросках, заговорили об его уме: в самом деле, среди современников его, умов значительных и иногда великих, мы не можем назвать ни одного, который был бы так свеже-поучителен для нас и так родствен и душевно-близок. Жуковский пережил Пушкина: Чаадаев был его учителем; Белинский был его моложе: однако все три как архаичны сравнительно с Пушкиным! Как, наконец. архаичны для нас даже корифеи 60-х годов: не враждебны, но именно старомодны. Между тем в публицистических своих заметках, как журналист, как гражданин, Пушкин не испортил бы гармонии, как спикер сегодняшней словесной палаты. Вот удивительная в нем черта; он не только пожелал освобождения крепостного населения, но в пожелании предугадал и образ этого освобождения: по манию царя.

Как глубоки и отвечают современным нам мыслям его замечания о внутреннем управлении в царствование Екатерины II. Или его заметка о речи Николая І на Сенной площади, во время холерных беспорядков, к народу. Державин написал бы по этому поводу оду, Жуковский — элегию, Белинский — восторженную статью, и даже перед фактом оказался бы молод Герцен: Пушкин осторожно оговаривает «Это хорошо раз, но нельзя повторять в другой раз, не рискуя встретить реплику которая носила бы очень странный вид и на которую не всегда можно найтись удачно ответить». Это почти речь Каткова, его сухой слог и деловитая осторожность. До Пушкина мы имели в писателях одистов или сатириков, но только в Пушкине созрел гражданин, обыватель, очень прозаических черт, но очень старых, седых, очень нужных. Обращаясь к императору Николаю, он говорил:

Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни. Но правдой он привлек сердиа Но нравы укротил наукой, И был от буйного стрельца Пред ним отличен Долгорукий, Самодержавною рукой Он смело сеял просвещенье Семейным сходством будь же горд, Во всем будь пращуру подобен, Как он — неутомим и тверд И памятью, как он, незлобен*

Этой твердости и спокойствия тона не было у Жуковского, не было у нервнокапризного Грибоедова. Из этого трезво спокойного настроения его души вытекли внешние хлопоты его об основании журнала: его черновые наброски в самом деле все представляют собою как бы подготовительный материал для журнала; из них некоторые в тоне и содержании суть передовые статьи первоклассного публициста, другие суть критические статьи, и последние всегда большей зрелости и со-

держательности, чем у Белинского. Появление «Современника» в формате, сохранившемся до минуты закрытия этого журнала, самым именем своим свидетельствует о крайней жадности Пушкина применить свой трезвый гений к обсуждению и разрешению текущих жизненных вопросов. Так из поэта и философа вырастал и уже вырос гражданин.

У Гёте Фауст, в самом конце второй части, занимается, да всею душою, простыми ирригационными работами: проводит канал и осущает поля. Мы знаем, что сам творец «Вертера» и «Фауста» с необыкновенным интересом ушел в научные изыскания: о теории цветов, о морфологии организмов.

Есть кое-что родственное этому у Пушкина, в этом практицизме его, в журнальных хлопотах, публицистической озабоченности. Укажем здесь один контраст: Достоевский накануне смерти лишет самое громоздкое и обильное художественное создание - «Карамазовых», Толстой — стариком создает самое скульптурное произведение. «Каренину», Лермонтов в последние полгода пишет множество м все лучших стихов. Но просматривая, что именно Пушкин написал в последние 1,5 года жизни, мы видим с удивлением все деловые работы, без новых поэтических вспышек или концепций. Мы можем думать, что собственно поэтический круг в нем был сомкнут: он рассказал нам все с рождением принесенные им на землю «сны» и, по всему вероятно, остальная половина его жизни не была бы посвящена поэзии и особенно не была бы посвящена стихотворству, хотя, конечно, очень трудно гадать о недоконченной жизни. С достаточным правом во всяком случае можно предполагать, что если бы Пушкин прожил еще десять — двадцать лет, то плеяда талантов, которых в русской литературе вызвал его гений, соединилась бы под его руководством в этом широко и задолго задуманном журнале. И история нашего развития общественного была бы. вероятно, иная, направилась бы иными путями. Гоголь, Лермонтов, Белинский, Герцен, Хомяков, позднее Достоевский вошли вразброд. Между ними раскололось и общество. Все последующие после Пушкина, русские умы были более, чем он, фанатичны и самовластны, были как-то неприятно партийны, очевидно, не справлялись с задачами времени своего, с вопросами ума своего, не умея устоять против увлечений. Можно почти с уверенностью сказать, что проживи Пушкин дольше в нашей литературе, вероятно, вовсе не было бы спора между западниками и славянофилами, в гой резкой форме, как он происходил, потому что авторитет Пушкина в его литературном поколении был громаден, а этот спор между европейским Западом и Восточной Русью в Пушкине был уже кончен, когда он вступил на поприще журналиста. Между тем сколько сил отвлек этот спор и как бесспорны и просты истины, им добытые драгоценною враждой! Но отложим гадания, признаем

Путь, пройденный Пушкиным в его духовном развитии, бесконечно сложен, утомительно длинен. Наше общество - до сих пор Бог весть где бы бродило, может быть, между балладами Жуковского и абсентенизмом Герцена и Чаадаева, если бы из последующих больших русских умов каждый, проходя еще в юности школу Пушкина, не созревал к своим 20-ти годам его 36-летнею, и гениальною 36-летнею, опытностью. И так совершилось, что в его единичном личном духе Россия созрела, как бы прожив и проработав целое

* Император Николай I, поговорив с час с 26-летним Пушкиным, сказал: «Я говорил сейчас с умнейшим человеком в России». Очевидно, Россия перед обоими стояла одна и та же, хотя разница в высотах созерцания, казалось бы, была несравнимая.

Рисунок Владислава СТАНИШЕВСКОГО